
CURRICULUM: СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИКА

РОЙС Дж. НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОБ АНОМАЛИЯХ САМОСОЗНАНИЯ. Часть 2 (Перевод с англ.)¹

Ключевые слова: самосознание; патологии самосознания; Эго; не-Эго; социальные ситуации; привычки; чувства; эмоции.

Для цитирования: Ройс Дж. Некоторые замечания об аномалиях самосознания. Часть 2 / пер. с англ. В.Г. Николаева // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11: Социология. – 2024. – № 2. – С. 155–167.

Перевод поступил: 21.10.2023.

Принят к публикации: 15.11.2023.

ROYCE J. Some observations on the anomalies of self-consciousness. Part 2 (Translated from English)

Keywords: self-consciousness; pathologies of self-consciousness; Ego; non-Ego; social situations; habits; feelings, emotions.

For citation: Royce J. Some observations on the anomalies of self-consciousness. Part 2. Translated from English by V.G. Nikolaev. Social'nye i gumanitarnye nauki. Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura. Seriya 11: Sociologiya [Social sciences and humanities. Domestic and foreign literature. Series 11: Sociology]. – 2024. – N 2. – P. 155–167.

Received: 21.10.2023.

Accepted: 15.11.2023.

¹ Окончание. Начало в предыдущем номере.

Перевод выполнен по: Royce J. Some observations on the anomalies of self-consciousness // Psychological review. – 1895. – Vol. 2, N 6. – P. 574–584.

Пару лет назад я провел сколько-то месяцев в довольно частом и близком общении с неким молодым человеком, который, хотя и не был тогда определенно известен в своей внутренней жизни ни одному медику, являл собой вполне патологический случай более метафизического типа болезни самосознания. Он пришел ко мне за советом как молодой гений, готовый предоставить мне для прочтения свою бесконечную рукописную продукцию, в том числе свои дневники, в которые мне было позволено углубиться. Он хотел получить какой-нибудь совет относительно задуманной им карьеры поэта, человека свободной души и вообще независимой личности. Это был мужчина 24 лет, живший в благоприятных обстоятельствах, избавленный от родительского контроля, физически довольно крепкий на вид и, насколько я мог судить, вообще со здоровой вегетативной нервной системой – человек, которому определенно до сих пор удавалось справляться без каких-то особых физических неудобств с напряжением значительной распыленности. Никаких серьезных болезней в его прошлом, начиная с детства, не отмечалось. С его слов, аппетит и сон у него были хорошими; его основным эмоциональным настроением, как бы вы его ни проверяли, была устойчивая жизнерадостность, даже в моменты наибольшей растерянности; его манеры общения были мягкими и, в целом, довольно женственными в своем добродушии, своей пластичности и несколько девическом типе полузастенчивой суетности. Его друзья долго считали его экстраординарной личностью, возможно гением и определенно загадкой. В школе он преуспевал, особенно в том, что писал и публиковал в школьных журналах; он по-настоящему мастерски овладел несколькими формами стихосложения, набил руку на романтической прозе и всегда проявлял немало художественной восприимчивости. Что касается ума, то в этом плане он все еще сохранял изрядную долю подлинной наивности по поводу самого себя, несмотря на свои недуги. У него была сильная, хотя и романтически туманная любовь к природе, живым существам, маленьким детям, вообще ко всему нежному и милому, и это пристрастие опять же часто выражалось с относительно женской восторженностью и простотой.

Так вот, на основу этой ребяческой и до сих пор остро впечатлительной натуры, с ее чувствительной, но физически энергичной *naïveté*, наложилась вторая натура, окрашенная и частично де-

терминированная, по видимости, унаследованной склонностью и приобретенными привычками его половой жизни. Последняя постепенно превратилась в жизнь, полную излишеств и отчетливой и открыто защищаемой распущенности. Его расстройства в этом отношении усугублялись значительными капризными вспышками пьянства, многочисленными сигаретами и обильным крепким кофе. В отношении всех этих привычек мой подопечный был абсолютно упорен, ни на единый миг в них не раскаивался, никогда не был внушаемым в этой области своей жизни и иногда становился, когда я принимался рассуждать с ним на такие темы, странно грутальным по тону, особенно в письмах, которые он мне писал, что резко контрастировало с мягкостью, проявляемой им в моей компании, и с почти единообразной внушаемостью его настроений, когда мы разговаривали с ним один на один. Эти инциденты того, что оказалось явно патологической любовью к возбуждению, были однако не самым непосредственным из симптомов ментального нарушения. Во всяком случае, эти легкомысленные развлечения были не просто брызжущим через край избытком расточительно энергичной физической натуры. Они были, как выяснилось, сопровождением весьма зловещей эксцентричности общего душевного темперамента. Уже в сочинениях, созданных в позднем детстве и предоставленных мне среди прочего, мой подопечный демонстрировал сильную склонность к частично бессвязному обилию полуавтоматических цепочек слов, образов и идей. Эта черта сохранялась в нем все то время, пока я его знал, и, хотя она очевидно усугублялась его эксцессами, я вообще не мог связать ее происхождения с этими привычками. Ведь все элементы этого процесса уже присутствовали в том, что он писал в пятнадцать лет, в то время как его физические привычки развились недавно. Эта черта никогда не проявляла себя в его речи в более или менее такой же форме, как в его письме. В его сочинениях в школе и в школьных газетах его дефекты не проявлялись. Но они были очевидны во всем, что он писал для самого себя. Именно когда он был один, импульс к этому полуавтоматическому мышлению, воображению, мечтанию и письму захватывал его. Затем начинались процессы, характер которых был вполне отчетливым и очень часто повторяющимся. На ум приходила полностью воображаемая сцена или ситуация, обычно представляемая в довольно живых зритель-

ных образах, и мой подопечный принимался плести историю об этой сцене, разрабатывать материал в стихотворении или писать эссе. С самого начала эта сцена или ситуация казались самому этому человеку, однако, не просто началом возможной цепочки волевой продукции, но и настоятельно значащим *символом* чего-то довольно таинственного или очень туманного; и его процесс сочинения всегда был попыткой *разобраться, что этот символ значит*. Искренность этой его внутренней установки по отношению к своим символическим образам я имел случай по-разному проверить, и я полностью уверен в подлинности экспрессий моего подопечного в этом отношении. До сих пор у него не было, разумеется, ни единого следа какой-либо системы интерпретации и никаких действительных заблуждений по поводу реального существования какого-нибудь определенного вида мудрости, достижимого этим путем. Но внутренние вопросы – «Что значит этот символ? Что это такое мне явилось? Как я могу выяснить, что я имею в виду этой идеей?» – все они в таких случаях были прямо-таки настоящими вопросами, и они навязывали этому человеку запутанный и захватывающий род раздумий, который наполнял очень значительную часть его жизни, когда он был один, и определял в то время, когда я знал его, весьма оживленную погруженность в сочинительство. Символы из раза в раз сильно менялись как в содержании, так и по роду значимости. Иногда это были романтические ситуации, где были леса, разрушенные замки, таинственные усадьбы, уединенные водные потоки. Иногда в них, видимо, присутствовало больше чисто метафизической импликации. Результатом появления такого символа могли быть целые часы молчаливых раздумий или полуавтоматического письма, проводимые с сильным чувством, соединявшим в себе удовольствие и озадаченность, и с изрядной долей заметных, но капризных изменений в телесных ощущениях – приливами крови к лицу и другими физическими возбуждениями разного содержания, которые часто старательно отмечались, пока этот человек писал. Результатом никогда не было разрешение загадки; напротив, путаница всегда только нарастала, пока он в изнеможении не бросал это дело. Большинство действительно завершенных сочинений составляли короткие стихотворения, редко или никогда не свободные от ряда заметных недостатков в форме, но иногда определенно умелые, а в

каких-то случаях примечательно связные и даже сами по себе многообещающие. В этом моему подопечному помогали его широкая начитанность и чувство стихотворной формы, хотя опять же влияние Уолта Уитмена часто было катастрофическим. При всем при том, стихотворения никогда не решали его проблем. С другой стороны, его проза все время, пока я его знал, оставалась фрагментарной. Она была посвящена упомянутым символам и, как следствие, была безнадежно бесформенной, часто вырождаясь в разных местах в откровенную невнятицу. В такие моменты автор явно сказал бы, что имеет дело с невыразимым и должен просто делать то, что получится. В композиции этой прозы преобладал вышеупомянутый зловещий и неконтролируемый автоматизм ассоциативных процессов. В ней массами толпились образы, самоанализ, новые загадки, иногда новые символы. Автор мог лишь смотреть на них и отчитываться о своих вдохновениях. Разумеется, он никогда не терял полностью нить своего изначального изыскания и часто снова возвращался к своей отправной точке, делая это так, что была очевидна настоятельность его преобладающего вопроса. Но рассказ, эссе, анализ или исповедь, которым символ давал толчок, были хаосом записанных без всякой пользы раздумий, столь же выходящих за рамки рационально определенного контроля, как и его зачастую яркие сновидения, когда он по-настоящему спал. Характерным для данного случая было, однако, то, что настойчивое чувство удивления и запутанности во всем этом сочинительстве никогда не покидало его, и одно это придавало его бумагам подлинное единство и оберегало их от простой регистрации полета идей. Они не приносили результата, но у них всегда была точно определенная цель, а именно: разрешить загадку значения этого символа.

Но мой подопечный не жил совсем один. Его развлечения происходили в компании; в эту компанию входило много людей. И тут проявилась другая сторона этого случая. Его социальная чувствительность, на которую, как я рассудил, влияла его весьма чувственная натура, была так же примечательна, как и его автоматические процессы. В разговоре, как я уже говорил, он был чутким и восприимчивым. Чувство смятения редко полностью покидало его и часто побуждало его говорить курьезно рвано и фрагментарно, несколько путано, но никогда с тем обильным автоматическим

словоизлиянием, как это было в письме. Отдельно от этого, однако, его социальная чувствительность проявлялась в форме бесконечной серии несколько женственных и изредка неловких поз. Он принимал разные установки, выражал разные настроения, идеалы, цели в зависимости от того, к чему его подталкивал разговор. Сам он иногда жаловался на внутреннее ощущение неискренности в этих позах, хотя в последних действительно был тот же род автоматической неискренности, который отмечается в драматических установках многих более или менее истерически настроенных женщин, которые, находясь в компании, не просто обычным образом пластичны, а фатально пребывают во власти сиюминутно внушенного разговорного настроения, хода разговора или исполняемой роли. Конечно, у моего подопечного даже в худшем случае никогда не было столь широкого репертуара поз, как у истерически настроенной женщины; его постоянно сдерживало его упорное внутреннее удивление в отношении того, зачем он все это делает и говорит, в то время как, вероятно, ничего такого не намеревался. Здесь, следовательно, был второй источник путаницы в его жизни. Для того, кто видел дурную компанию так же много, как этот человек, и искал так же много других видов компании, эта автоматическая внушаемость скорее всего оказалась бы почти такой же дезорганизующей, как и его упорные одинокие размышления.

Для завершения картины нужно только заметить, что социальная чувствительность моего подопечного особенно проявляла себя в виде ряда интенсивных и мгновенных впечатлений, возникших у него в отношении характеров людей, когда он впервые с ними знакомился. Эти абсолютно самоуверенные мнимые интуиции явлений характера, которые, как вы все несомненно знаете, нередко как автоматический эмоциональный процесс у некоторых чувствительных особ, у моего подопечного обычно принимали ранее описанную характерную форму. А именно, у него это были интуиции, проявлявшиеся как символы – таинственные, влекущие, озадачивающие, наподобие символов его одиноких раздумий. Только эти символы характеров приходили к нему как рефлексы всякий раз при первой встрече с человеком, случайно привлечшим его внимание. При виде такого человека в уме его сразу вспыхивал символ – или некая сцена, или типичный мифический акт, совершающим который этот человек мгновенно зрительно представлял-

ся, или опять же всецело таинственный неодушевленный объект, или внутреннее видение другого человека, явно очень на него не похожего. Этот символ приходил с ощущением: «Это означает то, чем по сути является этот новый знакомый». Но вместе с тем приходил и упрямо звучащий вопрос: «Что этот символ значит?» Ибо у этого символа редко было хотя бы какое-то надежное значение, а то и вовсе никакого не было. Только что бы ни узнавал после мой подопечный о характере нового знакомого, все это, как он говорил, всегда встраивалось в этот символ и служило его подтверждением или объяснением. Итак, этот символ, разумеется, никогда не оказывался неприменимым. При этом в дальнейшем общении мой подопечный всегда с упрямым усердием следил за каждым намеком, который новый знакомый давал в отношении своей подлинной личности. Поэтому мой подопечный любил вглядываться с характерным напряженным вниманием в лица и движения людей. Это задумчиво любопытное глазение он, в силу своей социальной гениальности, старался скрыть. Вдобавок его зачастую озадаченная самопоглощенность в сочетании с другими мотивами придавала игре его лица и его жестам, когда он был в компании, видимость необычайно неравномерную и непостоянную. То он долго и упорно смотрел с загадочной улыбкой вниз, на свои руки, то украдкой застенчиво поглядывал вверх, когда говорил, то, давая волю своему любопытству к изучению характера, прямо и пристально глядел на вас с выражением полной поглощенности и, принимая снова одну из упомянутых драматических поз, отдавался мгновенному настроению и действовал более или менее цельно по характеру, добавляя к этому часто замечание, что при всем при этом он сомневается в собственной искренности. Но в искренности опытов с символами характера не могло быть никаких сомнений. Ибо некоторые самые длинные его эссе были посвящены штудиям характера, основанным именно на таких символах, чьи возможные значения он разрабатывал в вышеупомянутой бесформенной манере. Образы, таящиеся в этих символах, часто имели в остальном подозрительно грубое и циничное содержание.

Здесь, следовательно, исходя из вышеизложенной теории, содержались самые многообразные материалы для аномальных привычек самосознания: заметно изменчивая общая восприимчивость, усиленная у моего подопечного умеренно раздражающими

результатами токсических и иных излишеств; обширный набор поразительных автоматических ассоциативных процессов, обычно ощущаемых как неуправляемые; внутреннее упрямство своеволия, неустойчиво соединенное с избыточной социальной пластичностью, которая выражалась в многочисленных позах, также неконтролируемых; коллекция социально детерминированных эмоциональных рефлексов, выражавших себя для сознания в форме вышеупомянутых символов характера и приводящих к всепоглощающей склонности размышлять с безрезультатным любопытством над внутренней жизнью других людей. Все это происходило в мозгу с превышающим среднее, хотя и бесформенным богатством интеллектуальных процессов и у человека, обладавшего некоторым художественным вкусом и восприимчивостью, а также значительным, хотя и решительно неправильным воспитанием.

Актуальным результатом было довольно монументальное расстройство самосознания, пронизывающее всю работу и жизнь этого человека. То, что среди прочего этот человек в данный момент играл в изучение философии, вы, вероятно, сочтете неудивительным; но его философские изыскания были грубейшего и самого фрагментарного рода и служили лишь тому, чтобы дать ему несколько фраз, в которые он мог облечь свои загадки; в остальном же я предостерегал его от всяких подобных исследований, как только более или менее разобрался в его состоянии. Таким людям, как он, говорил я ему, философия может на самом деле лишь навредить. Какими бы фразами он ни пользовался, за ними не было никакой серьезной философской рефлексии и никакого иного теоретического мотива, который направлял бы его, когда он размышлял над бесконечной и настоящей проблемой проблем его жизни, а именно над вопросом: «Кто я такой, чего на самом деле хочу и что я значу в этом мире?» С 15 лет, как он из раза в раз повторял в разговорах со мной, он просто ждал в нарастающем хаосе, в праздности, в развлечениях, перемежающихся с сочинительством, — ждал, когда прольется свет на то, кто он такой и для чего он здесь. С патетическим рвением он молил меня прояснить его случай и ответить на его вопрос, чтобы он мог научиться жить и увидеть свой путь из мрака. Но фактически, поскольку в эмоциональном отношении он был человеком веселым, несмотря на все свои сложности и порою острые страдания, он, в сущности, вовсе

не хотел найти выход. Его реальный интерес в приходе ко мне был в том, чтобы просто получить слушателя. Однажды он назвал свой внутренний мир, каким он был, своей сказочной страной. Он был явно настроен остаться в ней – и, в конце концов, насколько мне удалось проследить его карьеру, там и остался. На несколько лет я потерял его из виду. Конечно, пока он был рядом, я делал то, что мог; но случай был слишком уж темпераментный для скольконибудь эффективного лечения.

Завершить этот краткий очерк должен один пример стиля письма моего подопечного. Я выбрал его почти случайно, но не ради иллюстрации того, что было в моем подопечном наименее здоровым. Наоборот, это небольшое отклонение от нормы, которое часто наиболее поучительно. Мои документы об этом случае дают мне такие процессы десятками. И этот пример ни в коем случае не относится к худшим с точки зрения связности. Нет никаких причин предполагать, что следующий пассаж был написан под каким-либо прямым токсическим влиянием, и то, что я знал о привычках моего подопечного, делает такую гипотезу в данном случае совершенно ненужной. Это была его рутинная манера полуавтоматических размышлений, когда он был наедине с собой. В этом случае он писал час или два – в эссе, которое спонтанно готовил для моих глаз, – по поводу некоторого идеала, явившегося ему после прочтения «Популярной астрономии» Ньюкомба; этого идеала безличной и божественной хладнокровной мудрости, как он тогда фантазировал, он желал достичь. Ниже следует описание войны между этим идеальным родом самости и страстями его обычной чувственно хаотичной жизни:

«Я намерен попытаться оправдать себя. Судите сами. Я какое-то время послушаю, когда вы полностью определитесь в отношении меня. Думаю, я играю частями своего характера, чтобы избавиться от них. Знаете ли, думаю, у меня вообще нет никакой идентичности, в самой глубине. Я представляю ее, когда так пишу. Я чувствую себя почти сумасшедшим. Я, стало быть, вне моего обычного Я личного контакта – и той брезгливой восприимчивости, когда я бываю порой задет за живое живыми формами, окружающими меня во взаимодействии с ними. Вот ваша глубочайшая проблема психологии – идентификация с абсолютном. Я полагаю все это всерьез. Хочу, чтобы вы это рассмотрели. Мои ощущения в

этих случаях крайне своеобразны и сложны. Я чувствую себя за пределами того, что полагал сам собой, абсолютно, но все же брезжит воспоминание, и когда я останавливаюсь и прислушиваюсь к воспоминанию, приходит острый конфликт – предельно острый конфликт, – смешанное чувство в отношении себя, как если бы я был двумя личностями, двумя Я – и другое Я сначала обращалось к одному, потом к другому (и все же это не *реальное* Я – и все же опять-таки не нереальное) и решало, которое из них правильное. Когда чувствуешь безличное Я, чувствуя в то же время, что оно *должно* каким-то образом включить в себя личное брезгливое Я – то, чьи желания утоляются, – которое наслаждается существованием, миром – едой, питьем, любовью, и чувствуешь, если оно не может этого иметь, как оно должно отвергнуть все радости существования – все, что делает жизнь стоящей того, чтобы жить, – как, если оно приносит самое себя в жертву, оно должно чувствовать себя бесконечно хуже, чем оно чувствует тогда, когда из собственной головы вытаскивают крайне большой зуб, – насколько же оно было бы *сумасшедшим* – безумным, – будучи другим Я, чем естественное, – и все же чувствуя, что личное Я *должно* уйти – что большой зуб должен быть выдран раз и навсегда – и все же что оно *не* может – абсолютно *не может* избавиться от него – ибо тогда оно было бы (да, я имею это в виду – это ощущение) *ничем* – или сумасшедшим – не мной самим – просто машиной – каким-то образом, – что оно не может реализовать себя иначе, и именно так чувство уходит с личным Я в преобладании, – только тогда безличное Я так туманно, так далеко – за исключением того, когда пишет таким образом и в некоторых других схожих случаях увлеченности – или при мышлении о своем будущем поведении, и т.д.

Итак, обновиться – факт обновления возвращает меня, конечно, ближе к узкому личному Я. – О, как я могу избавиться от этого Я! – безумие – без радостей существования – ничто – машина – не Я вообще – ибо у сэра Исаака Ньютона было решительное Я – и такое же у профессора Х., – все они узкие более или менее (и как я могу пожертвовать сам собой – это тело и мозг не могут даже удержать расширенную сравнительную безличность сэра Исаака, не сойдя с ума, – будучи рядом со своим Я – вне своего Я, – ведь он был так устроен, чтобы быть этим сравнительно безлич-

ным Я. Он был – а я нет, – я чувствую это. Но время покажет, при условии постепенности изменения, не так ли? – А я между тем избавляюсь от значительной части бремени здесь – если ассоциации не нагрывают снова слишком сильно).

Моя тема выросла. Я жду, что ухвачу нити, а затем, по возможности, сжато выражу мысль. – Меж тем у меня жар. Моя голова забита. Я уже почти чувствую это безличное Я (какая странная фразеология: “безличное Я”. – Эта ремарка часть личного Я). Я чувствую без обычных телесных ощущений – это факт – без обычных ощущений, мыслей – способов мышления, – и все же переполненный и жаркий в голове и теле. – Поэтому, говорю я себе самому, я вверяю себя вам, дабы вы извлекли из этого пользу, какую сможете. Личное Я – самое узкое – вопиет о вознаграждении – говорит, что я глупец – глупец даже в том, что говорю это слово “глупец”, – говорит, что надо мною могут посмеяться. – Более безличное выходит на сцену и говорит: А какая разница? Ты (т.е. я) можешь быть глуп, но он (вы, профессор Ройс) получает от этого пользу – а он понимает – ты хочешь быть понятым – у тебя нет никакой цели – никакой особой цели даже в этом, – *но* пусть написанное дойдет до него. Какая, в конце концов, разница? – А он извлекает из этого пользу – и ты выражаешь себя, что, в конце концов, хорошо – но опять же для кого? – тебя самого – меня самого. Какова цель опять-таки? – справедливость? любовь? Кто ощущает любовь? Любовь к профессору Ройсу? – Почему он смеется как-то по-особому – услаждает себя концертами симфонического оркестра – *вообще* не для абсолюта и прогресса человеческого рода. Возможно, сейчас он смеется. – Кто? Профессор Ройс – надо мной, – тогда я брошу писать, – но опять же: Какая разница? Но если нет возражений, еще раз ответьте мне. Зачем я пишу? В конце концов, должно быть, для самого себя. Нет – да, – но снова какая разница? Ради самого себя еще раз – ради любви – ради самого факта, что вы равнодушны, – снова нет и да, и т.д. Таким образом, состязание продолжается, и, в конце концов, я продолжаю писать – да, думаю, для себя. Думаю, я уверен в этом».

Выдвинутые мною выше тезисы были следующими.

1. Самосознательные функции, в первичном их аспекте, все до единой являются социальными функциями, ввиду привычек человеческого общения. Они предполагают презентацию некото-

рого контраста между Эго и не-Эго. Этот психологический контраст – прежде всего контраст между собственным актом, идеей, намерением или иным опытом субъекта и опытом, который он считает представляющим состояние другого ума. При помощи постепенно приобретаемых привычек этот контраст рано расширяется, вбирая контраст между его собственными внутренними состояниями и представляемыми реалиями, составляющими физический мир.

2. В первичных случаях контраста между Эго и не-Эго первое – Эго – всегда включает (по причинам, которые были объяснены выше) наличные модификации общей восприимчивости и переживания чувства контроля там, где они вообще присутствуют. Последнее, психологическое не-Эго, является более холодной, более локализованной и менее контролируемой массой ментальных содержаний.

3. Эмоциональные состояния и вообще все те модификации общей восприимчивости, которые единообразно сопровождают любой из наших социальных рефлексов, становятся, по ассоциации, связанными с нашими воспоминаниями и идеями социальных ситуаций и не могут быть повторены, не напомнив нам более или менее ясно или смутно о таких социальных ситуациях в индивидуальной или суммарной форме.

4. Когда вспоминаются или воображаются социальные ситуации, заключающие в себе частные контрасты Эго и не-Эго, мы становимся самосознательными в памяти или в идее. Когда эмоции, ассоциированные старой привычкой с социальными ситуациями, предполагают смутно или суммарно такие ситуации с сопутствующим контрастом Эго и не-Эго, наше самосознание соответствующим образом окрашивается. Наконец, когда изменчивые содержания нашего обособленного сознания предполагают там или иначе по ходу дела контрасты, либо напоминающие нам о социальном контрасте между Эго и не-Эго, либо побуждающие нас к актам, предполагающим социальные привычки вроде вопрошания или внутренней речи, мы становимся рефлексивно самосознательными, даже находясь в одиночестве, наедине со своими состояниями.

5. Аномалии самосознания – это (1) первичные изменения общей восприимчивости или иных содержаний преходящего соз-

нения, которые смутно или ясно предполагают аномальные социальные ситуации, контрасты и функции; либо это (2) первичные аномалии в самих социальных привычках человека. Эти две формы могут, конечно, в какой-то степени сочетаться друг с другом.

*Пер. с англ. В.Г. Николаева**

* Николаев Владимир Геннадьевич – кандидат социологических наук, старший научный сотрудник отдела социологии и социальной психологии Института научной информации по общественным наукам РАН; vnik1968@yandex.ru

Nikolaev Vladimir Gennad'evich – Candidate of Sociological Sciences, Senior Researcher of the Department of Sociology and Social Psychology, Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences; vnik1968@yandex.ru